



**КОЛЛЕКЦИОННОЕ
ИЛЛЮСТРИРОВАННОЕ
ИЗДАНИЕ**



МОРЕ

О біле каміння серце посічу...

П. Тычина

Назвали его Черным, ибо черная судьба его, и черные души на нем, и дела тоже черные. Кара Дениз — Черное море.

На Чорному морі на білому камені
Ясенький сокіл жалібно квилить проквіляє.
Смутно себе має, на Чорне море спільна поглядає.
Що на Чорному морю недобре ся починає.
Що на небі усі звізди потьмарило,
Половину місяця в хмари вступило,
А із низу буйний вітер повіває,
А по Чорному морю супротивна хвиля встає...

Не вздымалась злосупротивная волна навстречу турецкой кадриге¹, море было тихое, ветер начинался ежедневно после захода солнца, дул всю ночь с берега, но вода от него лишь слегка морщижилась, к утру же залегала мертвая тишина на воде и в воздухе, и только после полудня задувал с моря свежий ветерок, поворачивал за солнцем, точно гонясь за ним, и умирал к вечеру вместе с солнцем.

Так и состязались здесь извека два ветра — один с суши, другой с моря, — и летели над водами дальше, дальше, в беспредельность.

Кадрига кралась вдоль берега, не решаясь выйти на широкий простор этого переполненного водами исполинских славянских рек моря, непроглядного в глубинах, таинственно-неприступного, черного, как шайтан, Кара Дениз...

Три паруса — один красный, два зеленых — едва надувались, кадригу гнали вперед своими веслами галерники, на двадцати шести лавках по четыре гребца, голые до пояса, бритоголовые, в кандалах, прикованные к толстой цепи, змеившейся по дну кадриги. Ни выпрямиться, ни места переменить, спали и ели посменно на своих лавицах, волны били в них, солнце жгло, ветер рвал тело, пот заливал глаза, а вдоль помоста, проложенного над галерниками, бегал с канчуком евнух-потурнак — ключник, похожий на старого вола, евнух, наделенный силой тоже чуть ли не воловьей, в высокой чалме, в расхристанном шелковом халате,

¹ Кадрига — галера.

тряс жирной грудью, кричал до пены на губах, подгоняя гребцов, а они и сами с каждым взмахом весел, словно бросая в проклятую воду не только весла, но и всю свою силу, выдыхали из себя дико, с ненавистью: «Г-гик! Р-рык! Г-гик! Р-рык!»

Хоча й би синє море розіграло,
Хоча й би турецький корабель розірвало...

На демене-корме натянут от солнца и непогоды навес из полосатого болого с синим — египетского полотна. Старый Синам-ага, страдая от хворей, устало поглядывает на шестерых прикованных друг к другу красивых молодых чернооких женщин в железных ошейниках. Кто может измерить всю глубину отчаяния старого Синам-аги, который был вынужден заковать в жестокое железо эти молодые тела, полные отчаяния еще большего! Все они похищены и пленены, а две из них еще и оторваны от грудных младенцев, все проданы на невольничьем торге в Кафе, почти нагими брошены на кадригу (пусть свежий ветер Кара Дениза золотит их молодые влекущие тела), скованы железом, чтобы спасти их от отчаяния и от нечестивых попыток найти себе смерть в волнах. Кадрига крадется вдоль берега, пробивается все дальше и дальше на юг, к благословенным землям Анатолии, к Босфору, к священному Стамбулу, где этих молодых чужестранок уже ждут в гаремах. Сказано у поэта: «Бери чаще новую жену, чтобы для тебя всегда длилась весна. Старый календарь не годится для нового года». И старые глаза Синам-аги, утомленные суетой и несовершенством мира, отдыхают на гибких белых телах полонянок. И хоть не подобает правоверному созерцать греховную женскую наготу, так пусть хоть глаза старого Синам-аги утешаются в пути созерцанием славянских рабынь, коли уж тело немощно. Ибо сказано: «Аллах хочет облегчить вам; ведь сотворен человек слабым». Да и что ему, старому Синам-аге, эти шесть пленниц? Может, он и взял их на кадригу разве что для отдохновения очей своих? Вез же в Стамбул, на знаменитый Бедестан, где продаются самые дорогие под луной рабы, молодую белотелую девчущку с волосами червонного золота, отливающими огнем потусторонним, пятнадцатилетнюю, дерзкую, непокорную и — о всемогущество Аллаха единого и милосердного! — смешливую и беззаботную!

Девчущка не закована в железо, не прикована ни к кадриге, ни к несчастным своим подругам, не светит она нагим телом, а укутана заботливо в шелка, чтобы тело ее не утратило нежности; жилистый евнух-суданец, посвященный в непостижимое искусство древнего Мисра¹, натирает девчущку какими-то благовониями, расчесывает ее золотые волосы, а она то шаловливо подставляет себя под это чужеземное лелеянье, то увертывается и летит к борту кадриги так, словно собирается утопиться, и Синам-ага, от ярости меняясь в лице, топает ногами, пронзительно кричит на евнуха, призывая на него страшнейшие кары земные и небесные за недосмотр, а девчущка подпрыгивает-вытанцовывает у самого борта, еще пуше изводя старого агу, да еще и припевает:

¹ Миср — арабское название Египта.

Нехай шуки їдять руки,
А плотиці — біле лице,
Нехай нелюб не любить,
Біле лице не цілує,
Нехай пісок очі точить,
Нехай нелюб не волочить...

— Настася! Не бери душу! — стонув полонянки.

Тоді златовласа дівчушка заводить таку тоскливу, що і Синамага, навіть не розуміючи мови, опускає голову на тонку морщинисту шию і важко задумується про свої провини перед Аллахом:

Ой, повій, вітроньку, да з-під ночі,
Да розкуй мої да руки-ніженьки,
Ой, повій, вітроньку, з-під темної ночі,
Да на мої ж да на карії очі...

Гори підступають до самого моря, насторожено висять над водою. Море заглядає в темні ущелля, в широкі устя рек і ручьев, в чаши і ліса на схилах. Потім довго тягнеться вздовж берега плоска рівнина, обривана тисячолітніми виносом мутних рек, на яких давні греки шукали когось-то золоту руку.

Важкий шлях кадриги ґрунтується в сурові гори Анатолії, вздымаються високо під небом за стрічкою круглих холмів, пісчані коси і пастибища. На вузьких стрічках землі пасуться коні, ростуть якісь-то злаки, потім гори підступають до самого моря, гострі, скалісті, мертві, а за ними безмежний сніжний хребет, холодний, як безнадійність; холод смерті веде від тих снігів, лідяні вихри зароджуються в піднебесі, падають на тепле море, чорний дим туч клубиться між горами і водою, алчно тягнеться до сонця, сонце испуганно убігає від нього далі і далі, і на море починає творитися щось невообразиме.

Точно змія від страшної дитячої казки народилася десь-де над горним горизонтом, сотканий із призрачного жовтого світла, припав до поверхні моря, потім круто взмыв в небо, полетів вище, ще вище, закрити сферичною головою небо і став лакати з моря світ, жадно і торопливо проганяючи його по своєму довгому тілу в ту сферичну голову. Безмежне змієне тіло билося в судорогах від притоку світла, голова кроваво кипіла вогнем, а море темніло, темніло, чорнота надвигалася на нього зовідсюду, важка і щільна, тільки изредка пробивалася несмілим вблеском голубовато-зеленої хвилі і умирала посереді сплошної чорноти, і море сталося як чорна кров.

В той короткий проміжок часу, наступивший між появою тривожного мраку і неминувим бурей, страх охопив Синамагу і його

¹ По одній із версій прообразом Роксолани стала українська дівчушка Настя Лисовська, яка народилася в 1505 році в родині священика Гаврилы Лисовського в Рогатині — невеличкій містечку на Західній Україні. В XVI в. цей містечко було частиною Речі Посполитої, яка в той час страждала від спустошуючих набегів кримських татар. — *Прим. ред.*

прислужников, затрепетали от страха скованные железом пленницы, только галерники выкрикивали после каждого взмаха весел еще более дико и словно бы даже обрадованно, да златовласая пятнадцатилетняя Настася дерзко осмотрелась вокруг и, наверное, впервые за все время плавания подумала, что, может, и в самом деле броситься бы сейчас с кадриги и утопиться навеки! Потому что, пожалуй, человеку иной раз лучше утонуть, чем мучиться... Если бы она знала, что лучше! Да если бы еще знала, что воды примут ее тело и успокоятся. И успокоятся ли? И выплеснут ли хоть каплю той печали, которая заполняет это море до самых высоких его берегов?

А уже падала на них буря, такая страшная, что море содрогнулось до своих глубочайших глубин, вздыбило свои воды, взревело и загремело.

«И ты увидишь, — бормотал Синам-ага, — что горы, которые ты считал неподвижными, — вот они идут, как идет облако...»

Паруса на кадриге уже давно были сорваны, теперь невольники рубили мачты, и они, падая, раздавили тех, кто, удерживаемый железной цепью, не мог спастись.

Исчезло все, умерло навеки, убитое каменной силой вознесшихся до небес водяных гор, сатанинским ветром, ошалелостью всего мира, лишь какое-то подобие жалобного стенания, превозмогая рев, свист и громы стихий, тонкой нитью неожиданно провисло над несчастными душами, может, и рожаемое теми душами, стенание, услышанное сначала одной лишь пятнадцатилетней Настасей, потом ее изгоревавшимися подругами, потом галерниками, потурнаками-евнухами и даже самим Синам-агой, потому что все они, в конце концов, были людьми, хотя и не одинаково милосердными и не одинаковых достоинств, и уже когда должны были погибнуть все, когда кадригу не могли спасти ни железнорукие гребцы, ни молитвы Синам-аги, ни неистовство потурнака-ключника, ни слезы полонянок, ни отвага златовласой девчушки, ни сам Аллах, донеслось откуда-то это тонкое стенание, этот жалобный плач-стон, — родившись в душе Настасиной, он стал слышен всем людям и стихиям, подхватил кадригу, повел за собой, повел, и провел сквозь стихию, сквозь смерть и гибель, и вывел туда, где еще светило солнце, зависая над вечерним горизонтом, где море хотя и билось еще отчаянно, но уже не крушило всего на себе, где была жизнь, хотя и горькая для пленниц, но жизнь, ох, жизнь, и уже не стон-плач был в душе златовласой девчушки, а напев, тонкий и высокий, сияющий, как золотая нить, и светился тот напев, как молодая девичья душа, и хотелось кричать, смеяться и плакать, заламывать руки от неудержимой радости и отчаяния за только что перенесенное: «Жить, хочу жить!»

Синам-ага бормотал из Корана: «И восток, и запад Аллаху принадлежат». Кадрига шла всю ночь вдоль темных берегов, утреннее солнце высветило глубокие морщины в древнем теле гор, за скалистыми островками море как бы проваливалось, каменные горы простлали до самой воды округлые зеленые холмы, судно очутилось между теми холмами. Синам-ага и его прислужники радостно закричали: «Богазичи! Богазичи!»¹, а с широкого моря, точно радуясь спасению людей, весело

¹ Богазичи — Босфор.

погнался за галерой целый табун добрых удивительных созданий; они охватили кадригу полукругом, выпрыгивали из волн, темноспинные, белобрюхие, могучие и красивые, ловко прошивали глубину, точно живые веретена, приближались к кадриге в радостных всплесках, в веселой игре, и словно бы даже пение доносилось от них, словно бы даже человеческое что-то или от глубинных высших сил живых. Девчушка златовласая бросалась к бортам, то к правому, то к левому, захлопала в ладоши, прокричала что-то тем удивительным добрым созданиям, запела им, суданец-евнух, для которого дельфины не были в диковинку, слегка озадаченно взглянул на Синам-агу, а тот, как-то горестно вздохнув, протянул руку, показывая, чтобы евнух подал ему длинное бронзовое ружье.

Выстрел прогремел с такой силой, что казалось, уже один его звук должен был сбросить белотелую девчушку в море, но девчушка в ярких чужих шелках угрожающе нависала над самым бортом, падая и не падая в босфорскую волну, зато в табуне добрых дельфинов один, пораженный, может, в самое сердце, исчез в глубине, его товарищи ринулись за ним, чтобы спасти, но, бессильные помочь ему, вновь вынырнули и отдалялись от кадриги так же быстро, как незадолго перед этим приближались к ней, а тот, сраженный, убитый и еще не добытый, внезапно всплыл почти у самой кормы, блеснул в прозрачной воде белизной, тяжело перевалился темной спиной через буруны; умирающее животное так и льнуло к деревянному телу кадриги, и гребцы занесли весла, держали их на весу, не опуская в воду, чтобы не задеть дельфина, за которым, точно красное руно, тянулась багровая полоса крови. Дельфин не поспевал за волнообразным движением воды, высовывал спину, поднимал в муке голову, и тогда становилось видно, что есть в нем что-то от человека. Умирал как человек. Беспомощно, мучительно, тяжело. Еще раз блеснул брюхом, перевернулся, навеки исчез в темной глубине и точно звал с собой и к себе всех, кому на поверхности, под солнцем и небом, было тяжело, невыносимо и безнадежно, звал и тех галерников с обрITYми головами и почерневшими, как кора на старых деревьях, телами, и женщин-полонянок, и ту пятнадцатилетнюю золотоволосую девчушку¹, которую Синам-ага в чаянии высокой прибыли готовил к жизни сладкой и роскошной, — но для кого же, для кого? «Не хочу! Не хочу!» — кричало все в ней, а она подавляла тот крик, загоняла его в глубь души, полными слез глазами смотрела уже и не на глубины моря, в которых навеки исчезло доброе морское существо, а на высокие зеленые берега, на птиц, вольно реявших над кадригой, на белые камни суровой крепости, опоясывающей узкий пролив, на толстые железные цепи, которыми запирались турецкие воды, отгораживаясь от свободного морского мира. Гребцы неохотно и не спеша опускали длиннющие, тяжелые, как камни, весла в воду, но кадрига плыла уже и без весел, свободно и охотно, все убыстряя бег, словно бы радовалась своему вновь обретенному умению

¹ Летом 1520 года, в ночь нападения на Рогатину, юная дочь священника Настя Лисовская попала на глаза татарским захватчикам. В одних версиях легенды девушку посещают в день свадьбы, у других же она еще не успела достичь возраста невесты. — *Прим. ред.*

чувствовать родной берег, возвращаться в родной город, в свой дом. А она? На что она тут, так далеко от родного дома, на что, на что, Настася, Настася? Спрашивала сама себя, называя себя так, как называли ее мама, татусь, а слышалось другое: на что, на что? Спрашивало чужое небо, спрашивали чужие деревья, спрашивали чужие птицы, спрашивали чужие воды, — все вокруг наполнилось коротким и безнадежным: «На что? На что, Настася, Настася?»

В последний раз слышала свое имя здесь, над морем, ибо должно было оно утонуть в море навсегда, навеки.

...И названо было море Черным.



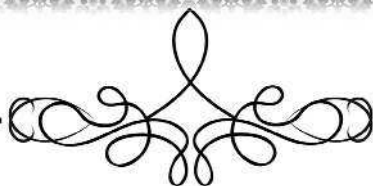
После бури.

Художник И.К. Айвазовский. 1854 г.

*Кто тянется своей душой к свече свиданья,
Готов, чтобы свеча его огнем сожгла.
И вот во прах я пал и стал твоей тропой,
Так почему же ты с тропы сошла?
Пусть я мечусь в огне разлуки и страданья,
Мне боль сладка, и я готов сгореть допла.*

(Махмуд Абдул Бакы)





ИБРАГИМ

Зеркала были как вода. С блеском глубинным и загадочным. Ибрагим любил зеркала и свое отражение в них. Как в детстве. Тогда он смотрелся в воду. Вода окружала остров Паргу. Маленький Георгис каждый день бегал на берег — встречал отца-рыбака с моря. Глядел на воду, видел свое отражение. Небольшого роста, ладный, востроглазый. Слишком бледнолицый для искони смуглых островитян. Перенял от них бойкость и подвижность.

А бледность, возможно, зародилась как раз оттого, что он пристально всматривался в воду. Но это его не очень занимало. Посвистывал себе и напевал, прыгая то на одной, то на другой ноге. Охотно свистел на свистульках, играл на самодельных дудочках. У соседских дочек была старенькая цитра — вскоре Георгис бренчал и на цитре. Отец пропадал в море или заливался вином по самые глаза. Сын? Кроме старшего, растут еще два. Вырастут помощники. Способности? Это слово было ему неизвестно. Мать приобрела у торговца, скупавшего губки по всему побережью, небольшую виолу. Приплывая на Паргу, торговец показывал маленькому Георгису, как играть ту или иную мелодию. Не для усвоения, а чтобы посмеяться над рыбацким сыном. Когда же он приплывал через месяц, мальчик уже играл услышанное лишь однажды. Как будто на острове у него был учитель. Ибрагим ходил на берег, дожидался отца, играл и играл. Для морских волн, для безмолвных камней, для высокого неба. Часто засыпал с виолой в руках, спал под палящим солнцем, на горячих камнях, но лицо его оставалось белым. Жизнь легка и заманчива! Даже когда приходилось помогать отцу, думал так же, поскольку помогал лишь относить губки тому странствующему торговцу. Не было тогда видно ни отца, ни сына. Двигутся две округлые кучи губок, а под ними мелькают две пары ног. Коричневые, жилистые, потрескавшиеся, все в ссадинах и шрамах — отца. И стройные, тонкие, как у козлика, — сына. Грек большой и грек маленький. Большой так и остался греком. Где-то ловит рыбу, достает губки с морского дна, высушивает, продает заезжим торговцам и пропивает все заработанное. Пьет неразбавленное кислое вино, как дикий фракиец. А маленький вырос и уже давно не грек, а Ибрагим-эфенди. Он красив, умен, богат и почти так же всемогущ, как и султан Сулейман. Говорить об этом излишне. В Стамбуле болтают лишь глупцы. Настоящие люди умеют молчать. Делают свое без шума. Человека вообще не слышат и не знают. Особенно же в таком городе, где говорит только история. Единственный способ, чтобы тебя заметили, — бить в глаза: уметь жить, наряжаться, показывать, кто ты есть. Ибрагим не был



ни пашой, ни санджак-беком, ни бейлербеком¹, ни визирем, но могущество его не имело границ. «Душа султана, его сердце и дух» — так прозвали Ибрагима². С Сулейманом прожил десять лет в Манисе, где султан Селим держал своего единственного сына, наследника трона, лишь изредка позволяя ему побыть своим наместником в Стамбуле, когда сам отправлялся в далекие и трудные походы, как это было шесть лет назад, во время покорения Египта. Султан Селим не любил сына, не любил он и свою жену Хафсу, дочь крымского хана, держал обоих в отдалении, равнодушен был к обычным утехам, в гарем заглядывал изредка, да и то лишь затем, чтобы войско не сомневалось в его мужских достоинствах, любил только войну, охоту, верных своих янычар. Про Ибрагима Селим знал, как знал обо всем в своей беспредельной империи. Возненавидел вертлявого грека. Возненавидел и сына за то, что тот сделал своим любимцем не воина, а какого-то вертопраха. Особенно не любил пышность в одежде, к которой Ибрагим приохотил шахзаде Сулеймана. И поэтому показалось странным, когда султан прислал Сулейману из Эдирне, куда отправился на большую охоту в начале Рамадана³, дорогую сорочку из тонкого шелка. Валиде Хафса не дала сыну надеть ее. Позвала одного из балтаджиев, который когда-то повел себя с нею неучтиво, сказала, что прощает его, и в знак прощения дарит ему дорогую сорочку. Такая сорочка приличествовала бы и самому султану. Балтаджи надел ее и в тот же день скончался в страшных мучениях. Селим прислал своему сыну отравленную сорочку! Зачем? Думал жить вечно, устраняя единственного наследника? Или не заботился о достойном продолжении рода османов, могучей лозы османова древа? Шахзаде не спал тогда всю ночь, все допытывался у Ибрагима. Ибрагим перебирал случаи из истории. Там можно было найти еще и не такое. Но кто же может успокоить себя прошлым?

В конце Рамадана умер султан Селим⁴. Умер от болезни почек на пути из Стамбула в Эдирне, в тех самых местах, откуда восемь лет назад выступил против родного отца, султана Баязида Справедливого. Может, носил эту неизлечимую болезнь в себе уже давно и, не имея ни времени, ни надежд на получение престола, расчистил себе путь к власти убийствами своих братьев, их детей, укорочением века самому султану Баязиду. Носил в себе дикую боль, тщетно пытался унять ее опиумом, может, собственной болью мог бы оправдать и свою нечеловеческую жестокость? Жестокость к вра-

¹ Бейлербек — титул пашей и наместников (турецк.).

² Ибрагим-паша — одна из самых ярких и могущественных фигур периода правления Сулеймана I — был сыном моряка из Парги, греком и христианином. Захваченный еще ребенком турецкими корсарями, Ибрагим был продан в рабство некой вдове из Манисы, которая дала мальчику хорошее образование и научила игре на музыкальном инструменте. — *Прим. ред.*

³ Рамадан (Рамазан) — 9-й месяц мусульманского лунного года хиджры. Согласно догадкам, в этом месяце был «ниспослан» на землю Коран. В Рамадан мусульмане должны были соблюдать пост (уразу).

⁴ Султан Селим I (1465–1520 гг.) — отец Сулеймана Великолепного, вошел в историю под прозвищем «грозный» (по-турецки — «Явуз»). Вел активную захватническую политику. Под его началом Османская империя увеличилась на 70%. — *Прим. ред.*

гам уже не удивляла никого — все османы были жестоки. Но к родному и единственному сыну?

Известие о смерти принес в Манису Ферхад-паша, бывший раб родом из Шибеника, грабитель и убийца, любимец Селима и... Сулеймана. Одного очаровал своей зверолостью, другого — быстрым умом, песнями, беседами. За него выдали Сулейманову сестру Сельджук-султаню, принцессу, гордую своей красотой, но и она так же, как и валиде, была в восхищении от бывшего раба.

Для османов происхождение никогда много не значило. Только заслуги, верность, преданность и личные достоинства. Кто умел крикнуть громче всех во время штурма вражеской крепости, ударить сильнее всех саблём, растоптать наибольшее количество врагов, растолкать локтями всех вокруг, лезть напролом без стыда и совести, лишь бы только во славу Аллаха и на пользу и услужение султану. Каждый нищий мог стать великим визирем, вчерашний раб — царским зятем. Ведь сказано: «Разве же у них лестница до неба?»

Паша, загоня коней до смерти, мчал из Эдирне, чтобы принести в Манису весть о смерти султана, прежде чем об этом узнают в Стамбуле. Он торопил Сулеймана: «Быстрее, быстрее!» В столицу, в султанский дворец, пока не проведали янычары, пока стамбульская чернь не выплеснулась на улицы... Сулейман не верил. Султан мог подговорить Ферхад-пашу. Заманить Сулеймана в западню и расправиться.

Ферхад-паша падал на колени, целовал Сулеймановы следы. «Сияние очей моих! Разве бы осмелился раб твой...» Сулейман кривил тонкие губы в усмешке. Слишком много черных теней затемняло сияние самого Ферхад-паши. В царской семье хотел властвовать безраздельно, соперников не терпел. Если перед шахзаде заискивал, то Ибрагима ненавидел открыто. Называл его ржавчиной на сверкающем мече османов.

Тогда прибыл новый гонец. Теперь уже от великого визиря Пири Мехмед-паши из Стамбула. Мудрый Пири Мехмед прислал Сулейману шелковый свиток: «Моему достославному повелителю. Дня двадцать седьмого Рамадана почил в Аллахе всесветлый султан Селим. Смерть его скрыта от войска. Остаюсь для повелений моего достославного властителя».

Сулейман поцеловал свиток. Взял с собой Ибрагима и Ферхад-пашу: Ибрагима — для себя, пашу — для янычар. Коней меняли через каждые три часа. Ферхад-паша издевался над Ибрагимом: «Рассыплешься!» — «До твоих похорон доживу!» — «Подумай, кому это говоришь?» — «Я уже подумал». Сулейман не разнимал двух фаворитов. Один — его собственный, другой — всей султанской семьи. Может, ждал, кто кого? Но Ибрагим ждать не мог.

На вершине пятого из семи стамбульских холмов Сулейман поклонился покойному султану, и первым, что он повелел, было: воздвигнуть на том месте джамию¹, тюрбе² и медресе³ в память великого покойника. Только после этого вступил во дворец Топкапы.

¹ Джамия — большая (соборная) мечеть.

² Тюрбе — гробница (араб.).

³ Медресе — мусульманское учебное заведение, выполняющее функцию средней общеобразовательной школы и мусульманской ду-

Янычары взвыли, услышав о смерти Селима. Султана звали Явуз Грозный, с ним и они были грозны, как никогда прежде. В знак скорби посрывали с голов свои островерхие шапки, свернули походные шатры, бросили их на землю, отказались служить новому султану. Ибо тот признавал только свои книги, выискивая в них мудрость. А мудрость — на конце ятагана. Пусть себе утешается книгами!

Сулейман терпеливо переживал смуту в придворном войске. Надеялся на Ферхад-пашу? Или на старого Пири Мехмеда? Потом велел открыть сокровищницу и стал щедро раздавать золото и серебро. Янычары притихли. Отпустил домой шесть сотен египтян, взятых в рабство Селимом. Персидским купцам, у которых Селим перед походом против шаха Исмаила забрал имущество и товары, возвратил все и выплатил миллион аспр¹ возмещения. В науку другим и для острастки повесил командующего флотом капудан-пашу Джафер-бека, прозванного Кровопийцей. Никто не знал, что это первая месть Ибрагима. Да и сам капудан-паша не успел догадаться об истинной причине своей смерти. Забыл, как пятнадцать лет назад был привезен на его баштарду худошавый греческий джавуренок со скрипачкой и как, насмехаясь, почесывая лохматую жирную грудь, прячась в тени шелкового шатра на демене, поставил он под солнцем на шаткой палубе мальчонку и велел играть. И тот играл. Может, думал, что и схватили его на берегу только затем, чтобы потешил игрой капудан-пашу? И, пожалуй, надеялся, что его отпустят к папе и маме? «Хорошо играешь, малыш, — сказал Джафер-бек, — и как жаль тебя продавать! Но что я, бедный раб всемогущественного и милосердного Аллаха, могу поделывать?» И он даже заплакал от растроганности и безысходности. Сказано же: кого волк схватит, того уже в лес не пустит.

Джафер-бек продал маленького Георгиса за пятьдесят дукатов богатой вдове Феррох-хатун из Манисы. Добрая женщина не только уплатила бешеные деньги за ничтожного греческого мальчугана, она не жалела денег на самых дорогих учителей; и за пять лет Ибрагим (ибо теперь его так звали) словно заново родился на свет. Не узнал бы его уже никто с маленького острова Парги.

Повезло даже в несчастье. Ему повезло и еще раз: шахзаде Сулейман услышал однажды на улице, как Ибрагим играл на виоле. Небесная игра! Феррох-хатун плакала горькими слезами, расставаясь со своим воспитанником. Воля шахзаде для нее была превыше любви к Ибрагиму. Шестнадцатилетний шахзаде купил себе семнадцатилетнего раба редкостных способностей, знаний и достоинств. Не мог жить без Ибрагима. Назвал его сияхтаром оруженосцем. Ибрагим платил Сулейману преданностью, любовью и благоговением. Не довольствовался словами, взглядами, готовностью служить во всем. Доходил уже и до невероятного. Обрезал Сулейману ногти над серебряной тарелочкой и хранил их в розовой воде, как драгоценнейшую реликвию. Сулейман сочинял стихи про Ибрагима. Называл его макбул — милый, мергуб — желанный, махбуб — любимый. Часто спал с ним в одной комнате, забывая о красавицах из своего маленького гарема. Заставил

ховной семинарии. Обучение в медресе отдельное и бесплатное. Выпускники медресе имеют право поступать в университет. — *Прим. ред.*

¹ Аспра — денежная единица.

Ибрагима завести собственный гарем. Пока из одних рабынь. Женщины тоже любили Ибрагима. Он был любовником пылким и утонченным, как все греки. Греком оставался, несмотря ни на что. С Сулейманом они читали Аристотеля по-гречески. Спорили о Платоне и Сократе, тоже по-гречески. Когда в Стамбуле Ибрагим познакомился с богатым венецианским купцом Луиджи Грити, то первый их разговор велся опять-таки по-гречески. Внебрачный сын венецианского сенатора Андреа Грити, на десять лет старше Ибрагима, человек невероятного богатства, Луиджи повел себя с Ибрагимом как с братом. За кипрским вином неторопливо велись беседы о поэзии, об Александре Македонском и Ганнибале, об исламском мудрословии. Грити учился в университетах Вены и Падуи, Ибрагим — только у безымянных улемов¹. Один родился в роскоши, другой происходил из вековечных голодранцев. Но кто бы заметил различие между ними? К тому же, будучи и старше, и богаче, и могущественнее, и образованнее, хозяин дома уступал младшему, незнатному, рабу, наконец, даже в языке! Не удивлялся только Ибрагим. Ибо знал то, что знал и Грити. О смертельном недуге султана Селима. И о том, что Сулейман — единственный наследник престола. А также о том, что он, Ибрагим, — душа и сердце Сулеймана.

Все-таки жизнь легка и прекрасна. На третий день после провозглашения Сулеймана султаном Ибрагим получил пост смотрителя султанских покоев и звание великого сокольничего. Ему был предназначен двор на Ат-Мейдане, возле античной цистерны Бинбир-дирек. От Ат-Мейдана через ипподром до Айя-Софии и сераля Топкапы совсем близко. Султан хотел, чтобы его любимчик был всегда рядом. На Ат-Мейдане происходили смотры султанского войска. Там муштровались янычарские орты². Через него пролегал путь торжественных султанских выездов — селямликов. Ат-Мейдан был как бы зеркалом султанского Стамбула. А Ибрагим любил зеркала. Венецианца не удивишь таким подарком, но Ибрагим, поселившись на Ат-Мейдане, часто посылал Луиджи Грити на Перу зеркала, то бронзовые, то серебряные, а то и золотые. У османцев нет предметов без значения. Ведя происхождение от темных сельджуков, они не возлагали больших надежд на письменность, обходились по обычаю своих неграмотных предков языком вещей. Даже совершенно неграмотный османец мог составить любое послание. Зеркало значило: «Я готов всем пожертвовать для вас». Грити охотно включился в предложенную Ибрагимом игру. Присылал ему виноград, свитки синего и голубого шелка, сладости, ветку алоэ. Это означало: «Сердце мое, я люблю вас! Страдания, кои претерпеваю я от своей любви, едва не сводят меня с ума. Душа моя стремится к вам со всей силой страсти. Пролейте благотворный бальзам на мои раны!» Ибрагим отсылал золотую монету. Это значило: «Я буду любить вас еще сильнее».

Истекал второй месяц со дня провозглашения Сулеймана султаном³. Убедившись в щедрости и суровости нового султана, Стамбул утихоми-

¹ Улем — мусульманский ученый.

² Орты — янычарские воинские подразделения.

³ «Ему двадцать пять лет, он высокий, крепкий, с приятным выражением лица. Его шея немного длиннее обычной, лицо тонкое, нос орлиный. У него пробиваются усы и небольшая бородка; тем не менее выражение лица при-

рился. И хотя огромная империя взрывалась бунтами то тут, то там, в столице жизнь налаживалась. Первым признаком этого было то, что купцы повезли на Бедестан драгоценные товары и самых дорогих рабов. Луиджи Грити через посланца пригласил Ибрагима посетить вместе с ним Бедестан, где должны быть редкостные молодые рабыни. Даже черкешенки, которые ценятся дороже всех. Луиджи Грити намекал Ибрагиму, что уже забыл о его рабстве. Собственно, в этой земле все рабы. Народ — раб султанов, султан — раб Аллаха. Чтобы сделать приятное Луиджи, Ибрагим решил одеться венецианским купцом. Цветные кружева, черный бархат, золотая цепь на шее, перстни с крупными самоцветами, широкополая шляпа с драгоценным плюмажем. Одевали его два греческих мальчика. Красивые и изящные, как и сам Ибрагим. Он окружал себя только красивым. Хотел видеть себя в зеркалах чужих жизней. Не переносил евнухов. Ненавидел надругательства над человеческой природой. Человека лучше убить, чем искалечить. Смерть следует рассматривать как один из способов облегчить человеческую жизнь. И не тому, кто убивает, а кого убивают. Пока живой, можно было утешаться такими рассуждениями. А он был жив и не имел намерения умирать. Может, и никогда. Смотрел на себя в венецианское зеркало, подаренное Луиджи Грити. Нравился себе, как всегда. Тонкий, нервный, изысканный. На бледном лице выразительно очерченные губы, из-под тонких черных усов поблескивают ровные острые зубы, так плотно поставленные, что кажется — их вдвое больше, чем нужно. Иные развивают тело, он развивает дух. Тело приспособлялось к духу, шлифовалось им, зависело от него, а дух был свободный, раскованный, миллионноликый. Потому и любил себя Ибрагим удвоенного, утроенного в зеркалах. В них отражался уже и не он, не его внешность, а его неповторимый дух.

Луиджи Грити застал Ибрагима у зеркал. Как бы в угоду Ибрагиму, купец оделся османцем. Богатый халат из золотистой парчи, расшитые золотом зеленые шаровары, белоснежный шелковый тюрбан, под широченными смоляными бровями поблескивают выпуклые глаза. Искривленный, как у султана Мехмеда-Фатиха, нос, густые пышные усы, чернящая борода. Вылитый паша! Они долго смеялись, рассматривая друг друга. Обнялись и расцеловались в надушенные усы. Даже духи каждый подобрал соответственно костюму: у Луиджи восточные, у Ибрагима итальянские, чуточку женственные, чуть ли не от самой Екатерины Сфорца, к советам которой прислушивались все самые вельможные лица Европы.

— В носилках или на конях? — спросил Ибрагим.

— Только верхом! — захохотал Грити, показывая на кривую саблю в драгоценных ножнах, на парчовой перевязи.

Их сопровождало с десяток бостанджиев, готовых на все. Свиту не удивил Ибрагимов вид. Видывали и не такое. Головами отвечали за его целостность и неприкосновенность перед самим султаном — вот и все, остальное

ятное, хотя кожа имеет тенденцию к чрезмерной бледности. О нем говорят, что он мудрый повелитель, любящий учиться, и все люди надеются на хорошее его правление» (венецианский посланник Бартоломео Контарини — о Сулеймане спустя несколько недель после восхождения Сулеймана на трон). — *Прим. ред.*